

200-летний юбилей Николая Алексеевича Некрасова мы отмечаем публикацией двух замечательных материалов, посвящённых великому русскому поэту: статьи Вадима Кожина «Некрасов и Православие», опубликованной в 1996 году в «Исторической газете», и диалога Валерия Ганичева и Татьяны Глушковой «За великое дело любви!», напечатанного в двух номерах газеты «Слово» в феврале 2001 года (это было одно из последних интервью, данных Татьяной Михайловной Глушковой).

Думаем, что не подлежит сомнению актуальность и этой статьи, и этой беседы — при всей остроте и возможной спорности мыслей, высказанных авторами (особенно это касается иных слов Глушковой). Но разговор о нашей классике изначально предполагает диалог — диалог, в котором самые рискованные умозаключения существуют в контексте трепетного и неравнодушного разговора о современных смыслах классических произведений, смыслах, которые ещё предстоит осознать для дальнейшей животворящей деятельности на ниве русской культуры.

ВАДИМ КОЖИНОВ

НЕКРАСОВ И ПРАВОСЛАВИЕ

Поэзию Некрасова знают так или иначе все и каждый — уже хотя бы потому, что почти сто лет его произведения занимают немалое место в школьной программе, начиная с самых младших классов. Но в то же время Некрасову, так сказать, не повезло более чем кому-либо из великих поэтов XIX века, ибо в его стихах всегда стремились видеть прежде всего и главным образом «тенденцию».

Между тем, даже Чернышевский, которого никак не заподозришь в недооценке «тенденциозности», восторженно говоря в письме к Некрасову о его поэзии, счёл необходимым подчеркнуть: «Не думайте, что я увлекаюсь тенденцией, — тенденция может быть хороша, а талант слаб... Лично на меня Ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденцией...»

И всё же, как ни печально, Некрасова старались преподносить читателю — начиная с отроческих лет — не столько как самобытного поэта, сколько как публициста, который будто бы всецело посвятил себя стихотворному оформлению социальных лозунгов и призывов, всякого рода разоблачений, моральных заповедей и т. п.

Справедливости ради нельзя не сказать, что Некрасов написал немало строк, в которых публицистическая задача в той или иной мере подавляла дух творчества, в чём он не раз признавался и сам: «Мне борьба мешала быть поэтом...», «Нет в тебе поэзии свободной, мой суровый, неуклюжий стих...» и т. п. Однако вместе с тем Некрасов создал — особенно в период своего творческого расцвета — конец 1850-х—1860-е годы — стихи очень высокого художественного взлёта и поистине несравненной лирической проникновенности.

Но — увы! — многие люди, даже из числа горячих поклонников отечественной поэзии, попросту не знают вершин некрасовской лирики. Мне не раз приходилось сталкиваться с этим даже и в среде профессиональных литераторов. Не могу забыть, как один очень мною уважаемый старейший писатель — ровесник века — с неудовольствием сказал мне: «Вы пишете о Некрасове? Да ведь

он же посредственный поэт!” А что касается молодых литераторов, подобное мнение о некрасовской поэзии прямо-таки господствует среди них...

Когда начинаешь выяснять, на чём это мнение основано, обнаруживается, что таким людям известны почти исключительно только “хрестоматийные” стихи Некрасова, подавляющее большинство которых не принадлежит к высшим достижениям его творчества, стихи эти “отбирались” только ради заключённой в них “тенденции”.

Наследие Некрасова осваивается трудно еще и потому, что наиболее сильные его творения – это сравнительно пространные “лирические поэмы”, такие как “Тишина”, “Рыцарь на час”, “Коробейники”, “Балет”, “Детство”, “На Волге”. Для воплощения присущей одному Некрасову народно-песенной поэтической стихии необходимы были эти вещи широкого дыхания, но многие читатели поэзии, способные глубоко пережить краткое стихотворение, не столь уж часто имеют навык вживания в поэму.

А между тем своеобразие некрасовского творчества выступает наиболее ясно и полно именно в поэмах, хотя, конечно, они только развёртывают то содержание, которое воплощено и в стихотворениях поэта. Речь идёт об уникальном и удивительно органическом слиянии воссозданного в любых его самых “прозаических” деталях быта (словно перед нами и не поэзия, а так называемый “физиологический очерк”) и властной, всепроникающей стихии особенного, чисто некрасовского лиризма, который преобразует всё бытовое и прозаическое.

В этом лиризме преобладает рыдающая, надрывная нота. Поэт сам сказал о себе:

*Я призван был воспеть твои страданья,
Терпением изумляющий народ...*

Но нельзя не заметить, что цель – не отобразить или выразить страданья, но именно “воспеть”. Некрасовский пафос в высших своих возможностях поднимается до подлинной трагедийности, которая подразумевает не только скорбь и отчаянье, но и специфическое торжество, восторг, победность – без них невозможно то неотъемлемое качество трагедии, которое древние определяли термином “катарсис”. Александр Блок назвал “грустно-победной” внутреннюю мелодию ставших народной песней некрасовских “Коробейников”. И поэзия Некрасова в значительнейших своих проявлениях грустно-победна или (это, может быть, даже вернее) скорбно-победна.

Некрасовское торжество страдания и самой гибели уходит корнями в русское народное переживание христианства, ясно выразившееся уже в созданном в XI веке (и обретшем всенародную известность) житии князей-мучеников Бориса и Глеба. И скажу ещё, что поэзия Некрасова (хотя трудно найти осознание этого в сочинениях литературоведов) более проникнута духом христианства (притом собственно русского и истинно народного христианства), чем творчество других великих наших поэтов, то есть Пушкина, Лермонтова, Кольцова и даже Тютчева, не говоря уж о Баратынском и Фете.

В 35-летнем возрасте, в этой середине жизни, Некрасова как бы посетило откровение, и он замечательно поведал об этом:

*...Храм Божий на горе мелькнул
И детски-чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул.
Нет отрицанья, нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
— Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!..
Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца — муки
И язвы с совести больной...
Я внял... я детски умилился...
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,*

*Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетённых, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарём!..*

Последние восемь строк воплощают такое пронзающее переживание русского Православия, которое едва ли найдётся ещё в нашей поэзии.

Позднее Некрасов воссоздаст голос Православия как своего рода высшую, верховную и самую могучую музыку мира, перед которой меркнут все другие звуки:

*В стороне от больших городов,
Посреди бесконечных лугов,
За селом, на горе невысокой,
Вся бела, вся видна при луне,
Церковь старая чудится мне,
И на белой церковной стене
Отражается крест одинокий.
Да! я вижу тебя, Божий дом!
Вижу надписи вдоль по карнизу
И апостола Павла с мечом,
Облачённого в светлую ризу.
Поднимается сторож-старик
На свою колокольню-руину,
На тени он громадно велик:
Пополам пересёк всю равнину.
Поднимись! И медлительно бей,
Чтобы слышалось долго гуденье!
В тишине деревенских ночей
Этих звуков властительно пенье...
Одинокий ли путник ночной
Их заслышит — бодрее шагает;
Их заботливый пахарь считает
И, крестом осенясь в полусне,
Просит Бога о вёдреном дне...*

Уже незадолго до кончины Некрасов воспел “убогую” ветхую церковь (словно заглянув в наши дни), которую по-детски беспечный — что одновременно и прекрасно, и ужасно — русский люд не торопится заменить новой, но церковь эта словно слилась воедино с природой, полноправно участвующей в богослужении:

*...Помню я церковь убогую,
Стены её деревянные,
Крышу неровную, серую,
Мохом зелёным поросшую.
Помню я горе отцовское:
Толки его с прихожанами,
Что угрожает обрушиться
Старое, ветхое здание.
Часто они совещались,
Как обновить отслужившую
Бедную церковь приходскую;
Поговорив, расходились,
Храм окружали подпорками,
И продолжалось служение.
В ветхую церковь бестрепетно
В праздники шли православные —
Шли старики престарелые,*

*Шли малолетки беспечные,
Бабы с грудными младенцами.
В ней причащались, венчались,
В ней отпевали покойников...
Синее небо виднелось
В трещины старого купола,
Дождь иногда в эти трещины
Падал: по лицам молящихся
И по иконам угодников
Крупные капли струились...*

Дело, конечно, не только в таких прямых обращениях Некрасова к религиозно-церковной “теме”. Ведь и та скорбно-победная песнь о страдании, которая слышится в большинстве некрасовских творений, нераздельно связана, о чём уже шла речь, с тысячелетней православной традицией, восходящей ещё к святоученикам Борису и Глебу...

Одно соображение в связи с этим. Некрасова, бывало, упрекали в том, что он чрезмерно усиливал и гиперболизировал в своей поэзии тему страдания. И в самом деле – в поэме “Балет” (1866), например, Некрасов говорит как о безмерно тяжком испытании об обычном рекрутском наборе в деревне. Между тем, хотя солдатская служба тогда, в 1860-х, длилась 7–10 лет, на неё попадали всего четыре-шесть человек из тысячи (!) молодых крестьян, то есть полпроцента (поэтому и срок службы был долгим). И всё же Некрасов создаёт поистине “космическое” трагедийное действие (я привожу только небольшие его фрагменты):

*...В январе, когда крепки морозы
И народ уже рекрутов сдал,
На Руси, на просёлках пустынных
Много тянется поездов длинных...
Как немые, молчат мужики,
Даже песня никем не поётся,
Бабы спрятали лица в платки,
Только вздох иногда пронесётся
Или крик: “Ну! чего отстаёшь? —
Седоком одним меньше везёшь!..”
...Скрипом, визгом окрестности полны.
Словно до сердца поезд печальный
Через белый покров погребальный
Режет землю — и стонет она,
Стонет белое снежное море...
Тяжело ты — крестьянское горе!
...Чу! клячонку хлестнул старичина...
Эх, чего ты торопишь её?
Как-то ты, воротившись без сына,
Постучишься в окошко своё?..*

Такое разрастание горя и страдания до вселенских масштабов очень характерно для некрасовской поэзии. Но сегодня уместно сказать о глубоко провидческом смысле этой поэзии, о захватившем Некрасова предчувствии того, что выпало на долю русского крестьянства через полвека после кончины поэта, когда оно в самом деле вступило на тяжелейший, истинно голгофский крестный путь, как бы оправдывая своё старинное самоназвание – “крестьянство”...

Нужно прямо признать, что в XX веке не нашлось поэта, который – пусть не для печати – сказал бы об этом страстном испытании так же глубоко и сильно, как предсказал о нём Некрасов. И, осознав это, мы с особенной остротой чувствуем всю гжучую необходимость некрасовской поэзии.

Для понимания истинной сути творчества Некрасова исключительно важны размышления Достоевского. Можно без всякого преувеличения сказать, что в зрелые годы Достоевский и Некрасов были прямыми политическими

и идеологическими врагами, но тем более замечательна оценка, которую высказал Достоевский после кончины поэта.

Он начинает с сопоставления Некрасова с Пушкиным:

“Я не равняю Некрасова с Пушкиным... Некрасов есть лишь малая планета, но вышедшая из этого же великого солнца. И мимо всех мерок – кто выше, кто ниже – за Некрасовым остаётся бессмертие, вполне им заслуженное – за преклонение его перед народной правдой. И это тем замечательнее в Некрасове, что он всю жизнь свою был под влиянием людей, хотя и любивших народ, хотя и печалившихся о нём, может быть, весьма искренно, но никогда не признававших в народе правды и всегда ставивших европейское просвещение своё несравненно выше духа народного. Не вникнув в русскую душу и не зная, чего ждёт и просит она, им часто случалось желать нашему народу, со всею любовью к нему, того, что прямо могло бы послужить к его бедствию. И мало того, что не признают правды движения народного, но и считают его почти ретроградством, чем-то свидетельствующим о непроходимой бессознательности, о заматеревшей веками неразвитости народа русского. Некрасов же, несмотря на замечательный, чрезвычайно сильный ум свой, был лишён, однако, серьёзного образования. Из известных влияний он не выходил во всю жизнь. Но у него была своя, истинная, страстная, а главное – непосредственная любовь к народу. Он болел о страданиях его всей душою, но смог силой любви своей постичь почти бессознательно и красоту народную... О, сознательно Некрасов мог во многом ошибаться. Великое чутьё его сердца подсказало ему скорь народную, но если б его спросили, чего же пожелать народу и как это сделать, то он, может быть, дал бы и весьма ошибочный, даже пагубный ответ... Но сердцем своим, но великим поэтическим вдохновением своим он неудержимо примыкал в иных великих стихотворениях своих к самой сути народной”.